

WORLD CLASSICS BOOKS

ИВАН
БУНИН

ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА

T8 RUGRAM

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б91

Бунин, И.А.
Б91 Жизнь Арсеньева / И.А. Бунин. — М. : Т8 Издательские технологии / World Classics Books, 2019. — 430 с. — (World Classics Books).

ISBN 978-5-521-73505-1

История развития литературы — понятие куда более обширное, чем можно предположить, и куда более сложное, чем может вообразить студент-первокурсник филологического факультета. Неизменно всякий выбор «лучших книг» и «обязательных к прочтению» писателей сопровождается беспощадным отсечением жемчужин мысли от одобренной нормы и «золотого стандарта». За бортом остается множество гениев, признанных и непризнанных, и шедевров мировой литературы. Книги серии «World Classics Books» — попытка расширить устоявшееся в умах понятие классических книг и обязательных для образованного человека авторов, предложив читателю произведения, о которых он либо совсем не слышал, либо знаком очень издавна. Однако представленные в серии труды — в некотором роде веховые этапы на сложном пути развития мировой литературы, без которых трудно составить представления о различных жанрах, литературных школах и целых эпохах развития мировой культуры.

На обложке представлена репродукция картины Жуковского Станислава Юлиановича «Усадьба летом», 1906, частное собрание.

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-73505-1

© Т8 RUGRAM, оформление, 2019
© Т8 Издательские технологии, 2019

Содержание

Книга первая	5
Книга вторая	79
Книга третья	158
Книга четвертая	217
Книга пятая	285

КНИГА ПЕРВАЯ

I

«Вещи и дела, аще не написаніи бывають, тмою покрываються и гробу безпамятства предаются, написавшіи же яко одушевленіи...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, — тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, — и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» — хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы

с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает Церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву:

— Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, — от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто отцы и братіи наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братіи наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их — жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся

и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, не мало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине — перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и не даром — царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, осве-

щенную предъосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали

непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, — хутор Каменка, — главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке...

Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плы-вет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же — только тут еще блещет низкое солнце — и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных

стеблей, — затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, — и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, — и как изящно! — и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, — и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?